

АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ

СОЛДАТ НЕЗРИМОГО ПОЛКА

К 90-летию поэта Овидия Любовикова

1

Как же беспощадно время! Каким поразительным свойством обладает оно: тихо и молчаливо, одним лишь этим умолчанием, силой незримой и неуловимой позволяет людям отпустить свою собственную память. И она, эта память, против воли человека, отходит — на шагок, на версту, а потом и во все оставаясь лишь слабым контуром, очертанием, порой лишь воспоминанием улыбки и нечаянного слова. Всё остальное исчезает, забывается...

Вот почему такой благодатный смысл несёт в России слово “незабвенный”, и вот почему следует вновь и вновь преклонить колено перед памятью тех, кого любишь и помнишь, да и поторопиться, поторопиться!

Ещё один поворот неостановимого времени — и те, кто любил, отойдут, те, кто знал, забудут подробности, а те, кто не знал, выдумают миф.

Я пишу эти слова, думая об Овидии Михайловиче Любовикове, и две даты, две отметины не дают мне покоя: 90 лет со дня его рождения и почти 20 лет без него — он родился в 1924 году, а умер в 1995-м...

Каким было время, когда он родился! Каким стало, когда он ушёл! Что уместилось между двумя чертами...

2

Могу ли, имею ли я право обсудить никогда с ним не обсуждавшееся — из соображений, по сегодняшним временам, наивным? Из соображений порядочности, ибо этой вот порядочностью измерялись непроизносимые понятия и ценности.

Первое. Он родился в семье старого большевика из настоящих революционеров, вступившего в партию в 1905 году, подпольщика, сидельца питерских “Крестов”. Когда я видел Михаила Константиновича, он был очень стар, и я только здоровался с ним; мама же Овидия была улыбчива, доброжелательна, и от неё всегда веяло приветливым теплом. И это всё.

За долгие годы нашего общения я ни разу не слышал от Овидия ни единой ссылки на родителей, на их мнение, на что-то такое, что исторически, по справедливости, было за ними. Он никогда не использовал их авторитет — кроме сыновнего поклонения смыслу и сути их судеб.

Я пишу об этом потому, что решение уйти на фронт в 41-м году, ещё до того, как ему исполнилось 17 лет, было принято Овидием совершенно единолично, но, вероятно, было обусловлено жизнью его родителей и их убеждениями. И было единственно правильным не только по отношению к Родине, но и по отношению к отцу и матери. Сын был обязан защитить дело, за которое сражался его отец, и пафос тут отсутствовал полностью.

А теперь о том, что не было произнесено ни позже, после войны, когда всё окончилось и продолжилось мирное существование, и уж тем более в 41-м, когда дрожали внутри шестнадцатилетнего мальчишки не только страсть и долг, но и сама жизнь. Мыслимо ли было бы выговорить тогда желание получить бронь, уйти на учёбу, на работу пусть и в нужную войну, но не фронтовую среду?

Нет! Это исключалось! И это главное.

А мальчика бросили в самое пекло под Москвой. Вятские лыжные батальоны выкосило в 41-м почти вчистую. Парни погибали в первом же бою. Овидию повезло: его отправили в артиллерийское училище.

3

Одно время люди, причастные к литературе, поругивали лейтенантскую литературу: мол, послужили бы в солдатах! Зазвучало даже словосочетание “окопная правда”.

Но вот судьба лейтенанта Любовикова.

Рядовой вятского лыжного батальона под Москвой вышел живым из первой атаки, его послали учиться в артиллерийское училище. Потом – отдельная лыжная бригада, в её составе была артиллерия – знаменитые сорокапятки. Это они встречали первыми вражьи танки, и эти танки безжалостно утюжили их. Вот такая была лейтенантская “льгота” у мальчишки Любовикова! Он потом формулирует суть лейтенантской судьбы:

*На той войне был скоротечен
Прощанья скорбный ритуал:
Как помню, по шпиргалке речи
Комбат у гроба не читал,
Но над могилою три залпа,
Три грома, три огня подряд.
И пили мы до дна и залпом
Всю горечь горькую утрат.*

Лейтенантская, а это, в сущности, мальчишеская поэзия и проза составили со временем золотой сердечник не только литературы, но и нравственного мира страны. Ибо лейтенант – это первый командир солдата, идущий не рядом, а впереди него, и первым отдающий жизнь по собственной команде.

Овидий всегда это ощущал остро. Стремился выразить в стихах:

*И по ранжиру,
И по рангу —
Все перед совестью равны:
Они, от фланга и до фланга,
Стихи, пришедшие с войны.*

4

Но сначала был пришедший с войны уже не лейтенант, а капитан. И я помню, хорошо помню его, тогдашнего.

В 51-м, когда Любовиков вернулся из армии, я учился в девятом классе 16-й школы на улице Воровского. И каждое утро торопился от родительского дома с улицы Горбачёва вверх по Свободе, в горку. Там, неподалёку от пересечения с Коммунистической (ныне Орловской) я и встречал его.

Эти пересечения как будто кто-то рассчитывал по часам: без двадцати – без четверти девять. Ровно в девять у меня начинались уроки. У встречного человека тоже что-то начиналось в девять.

Он оглядывал меня спокойным и равнодушным взглядом, я делал то же самое – так смотрят друг на друга незнакомые люди, да ещё разных возрастов. Однако дети приметливы, и я вскоре разглядел, что мужчина всегда курит мундштук набивной – по такому же принципу, из разного цвета кусков плексигласа, делались какими-то умельцами ручки к финкам – таким почти боевым ножам. Значит, получалось, этот человек имеет отношение к войне, такие приметы о многом тогда говорили.

Познакомились мы довольно скоро. В те годы мне была любопытна область труда, от нашей семьи чрезвычайно далёкая. Отец был слесарем, вер-

нулся с войны старшиной, дважды раненным, и устроился работать в мастерскую, мама всю жизнь отслужила в госпитальной лаборатории. А мне вдруг понравилось писать заметки для газет – этакое начальное репортёрство, наивное, впрочем, и бесконечно школярское. Я никуда не ходил, а посылал почтой свои сочинения, большинство из которых безвестно исчезали, но некоторые всё же появлялись в газете “Комсомольское племя”.

Поразительно – не только для меня тогдашнего, но и для родителей – я получал деньги! Пусть скромные – в 10, 20 тогдашних рублей, – но и это было истинное открытие. А слово-то какое почтенное означали они – не зарплата, не получка, а – гонорар.

Всё началось с того, что в 1950 году, как только снова стали издавать после военного перерыва областную молодёжную газету “Комсомольское племя”, я занёс в редакцию фотографию и заметку об авиамодельных соревнованиях. Материал напечатали.

Далее всё моё “журналистское” начало двигалось пунктирно, с большими перерывами, тем не менее, я, видать, был зачислен в некий актив и зимой 1951 года получил приглашение на областной слёт юнкоров. Меня приветили, обласкали, главный редактор Леонид Дмитриевич Мокеров в своём докладе упомянул меня, и там я ближе увидел того человека, которого часто встречал по утрам. Он был заместителем редактора, а звали его Овидий Михайлович Любовиков.

Разумеется, я сидел тихо, как мышонок, слушал речи старших, и хотя понять не мог, о чём бы мог писать для газеты, заниматься этим мне очень хотелось. Из того тёплого и ласкового ко мне собрания я сделал вывод: надо писать.

Теперь, встречаясь на углу Свободы и Коммунистической, мы с Любовиковым здоровались, довольно сдержанно, впрочем, но вполне доброжелательно. Я посылал в “Племя” свои заметки, заходил в редакцию бесстрашно, мне стали давать задания, и я их учился выполнять. Чаще всего виделся с Заболоцким, реже – с Мокеровым, с Любовиковым – совсем редко.

Скоро он из редакции исчез, но пересекаться мы не переставали. Я получал не только “Кировскую правду”, “Племя”, но и “Комсомолку”, и по её публикациям узнал, что Любовиков стал её собкором по Кировской области.

После школы я уехал в Уральский университет, на отделение журналистики. А Овидия послали собкором “Комсомолки” в Новосибирск.

5

После университета я приехал на работу в “Кировскую правду”, и довольно неожиданно мы с Овидием оказались вместе: он был заведующим отделом культуры, я – его литсотрудником.

Только много лет спустя я понял, что он, сам того не ведая, наверное, позвал меня за собой туда, где он сам ещё только начинал: в литературу. Впрочем, мы ни слова не произнесли на эту тему, хоть какого-нибудь намёка не было на практицизм, на взаимность кого-то к чему-то обязывающих отношений.

Меня же привлекло в Овидии главное его достоинство: не суетливость, не велеречивость, а спорое умение делать дело. Он приносил проблемы и адреса, сообща мы придумывали тему и находили авторов. Время от времени он предлагал мне поехать в командировку. Предлагал, но никогда не заставлял. А я летел во весь опор! Так сложились две мои первые очерковые книжки – слабенькие, совершенно газетные, но я о другом и не мечтал.

Сам Овидий шёл тогда к своей третьей по счёту, но первой настоящей поэтической книге – “Спор”. Это едва ли не полностью владело им. Мы вообще много говорили с ним тогда о литературе.

Пережив формальный успех своих первых книжек, которыми сам он был очень недоволен, он упорно двигался вперёд, и я благодарен ему за то, что становился, похоже, первым слушателем то одного, то другого его стихотворения.

Мне всегда всё нравилось, он очень сдержанно улыбался, потом день-другой что-то переделывал и снова читал мне, уже поправленное, усиленное. Но это было, замечу, нечасто: Овидий писал свои стихи неторопко, доводил их до возможного предела художественности, и чаще всего читал их в окончательном виде.

Он вообще очень нехотя открывался. Прежде чем доберётся до стихов, мы много чего обсуждали иного, так сказать, рабочего. И уж только после этого осторожно, искоса взглядывая на меня, наверное, приглядываясь, готов ли я к иным материям, он говорил, точно извинялся: “Вот один стих смастерил...”

И читал негромко, чтобы никто, кроме меня, не слышал. Да ещё оглянется — нет ли поблизости нежелательных слушателей.

Не стану утверждать, что я был его всегдашним первослушателем. Совершенно уверен, что таким слушателем, разумеется, была Агнесса Михайловна, его милейшая, всегда приветливая и очень открытая жена.

Потом судьба нас чуточку развела: Овидий стал заместителем главного редактора, а я вернулся в отдел информации, где работал раньше, и через какое-то время меня сделали редактором “Комсомольского племени”. А далее жизнь развернулась так, что я должен был уехать из Кирова, и не в Москву, как многие предполагали, а в прямо противоположном направлении. Да и куда? В Новосибирск, собкором “Комсомольской правды”, на то самое место, где в 1955 году работал Овидий Михайлович. Его там ещё хорошо помнили, особенно газетчики, ведь в Новосибирске действовал целый корпус собкоров центральных газет, чего в Кирове никогда не было.

Новосибирск показался мне тяжёлым городом. Раскинутый по двум берегам Оби, он отнимал тогда уйму времени на дорогу. А моя жена Лилечка, став и там ведущим телевизионным диктором, домой приезжала по ночам, когда заканчивалась программа, и сын наш Дима, маленький ещё совсем, детсадовец, был со мной: дорога от телестудии до Зальцовки у Ботанического сада, где я получил квартиру под корпункт, составляла километров двадцать.

Я тогда не раз вспоминал Овидия. Выдержать такую жизнь, — не говоря уж об абсолютно ином человеческом окружении, — выше сил! Несколько раз, возвращаясь в Киров за семьёй или заскакивая к родителям при поездках в Москву, я неизменно встречался с Овидием, и вот уж тут мы бродили с ним часами. Я рассказывал о Новосибирске, он — о кировской литературе, да и про жизнь вообще говорили часами.

Агнесса Михайловна всегда зазывала домой, была доброжелательна и неизменно приветлива, хотела всё знать о городе, куда она, слава Богу, не доехала, и я невольно убеждал её в правильности этого решения. Мне же в Новосибирске была важна главная задача, решить которую требовала редакция и которой в 1955-м, у Любовикова, ещё не было: рассказать о Сибирском отделении Академии наук и его звёздах, которым несть числа.

6

Однако тяжёлый город Новосибирск дал мне время для литературы. Там, ещё до получения квартиры, в гостиницах я написал несколько повестей и ранних рассказов. Вынашивались сибирские книжицы — прозы и очеркистики.

Полтора года в Новосибирске закончились переводом в Москву, в аппарат ЦК комсомола, откуда я скоро ушёл в “Смену” и семь лет кряду, год за годом, писал по новой повести.

Писалось мне лучше всего в родительском доме. Я приезжал в Киров, и по вечерам мы гуляли с Овидием. В 1974-м я заболел, после операции приехал к родителям надолго, на пять летних, включая сентябрь, месяцев, и, конечно, писал. И снова гуляли с Любовиковым: улица Коммуны (теперь Московская) от набережной до театра была нашей любимой дорогой.

Я запомнил то лето какой-то освобождённости. Моя литературная судьба уже как-то складывалась, и я обсуждал решение: не уйти ли мне после того, как закроют больничный, на вольные хлеба? Грядущая воля в ту пору мнилась свободой и независимостью, и Овидий поощрял меня с постоянной его деликатностью: а чем будешь жить, на что?

Пунктирно рассказывал о себе: если бы его не избрали секретарём отделения Союза писателей, в газете работать он уже не смог бы. И не был уверен, что вольные хлеба для него — правильный выход.

Я задумывался, ворочался по ночам, мы снова и снова гуляли на другой день и раздумывали не о высотах поэзии или прозы, а про наш грешный быт. Впрочем, это надоедало, и Овидий читал стихи. Не свои. Тогда модным было “возвращение” поэтов Серебряного века, и Любовиков прочитывал одно-два стихотворения. Потом умолкал, и как будто даже голосом другим “вспоминал” Тютчева, Лермонтова, Пушкина...

Имена эти святые, возвышенные будто раздвигали стены нашей жизни. Отступали тучи. Город наш милый приветливо оглядывал нас окнами знакомых домов.

В те месяцы, когда я надолго оказался дома после больницы, Овидий с каким-то особым, братским, наверное, дружеством относился ко мне; так же он отнёсся и к первому моему однокласснику, пришедшему к больничному порогу. Ни слова о болезни — только о жизни, о множестве нелёгких человеческих судеб и социальных проблем. Не раз он заходил на ул. Горбачёва, в дом моих родителей, и, думаю, уходил от них с тем же тёплым добром, с каким я уходил когда-то от его мамы и отца.

В человеческом дружестве, да ещё сложенном на схожих взглядах, моральная, если можно так выразиться, теплоотдача просто необходима. В сущности, температура отношений и есть сама дружба. Но, как известно, горячее быстро остывает, а вот стабильность тепла обеспечивает продолжительность отношений. Хоть это и смешно, но настоящая дружба сродни хорошо сложенной русской печке.

Овидий был, мне кажется, именно таким: постоянно тёплым человеком. По крайней мере, так он относился ко мне.

7

Потом меня утвердили главным редактором “Смены”. Теперь мы с Овидием гуляем не только по вятским улицам, но и по Москве, встречаемся на Пленумах Союзов писателей РСФСР и СССР, у нас появляются общие знакомые.

Именно тогда Овидий с настоящим восторгом говорил мне, к примеру, про Даниила Александровича Гранина, про то, как он пишет о научной интеллигенции, и за что он ценит этого писателя вообще — за рассказ о войне, за “Блокадную книгу”. Естественно, что я всё это знал, но вот познакомиться воочию с Граниним мне удалось только с помощью Овидия — они где-то общались раньше. С Граниним я дружу и по сей день.

Да и какой поистине классической плеядой выглядела тогда советская литература: Виктор Астафьев, Василь Быков, обожжённый танкист, поэт Сергей Орлов (“его зарыли в шар земной” — это о русском солдате!), Михаил Дудин, Егор Исаев, Юрий Бондарев. И у Овидия, и у меня с каждым из них были свои пересечения, но я всегда отступал, когда пожимали друг другу руки те, кого называли фронтовиками.

Бог ты мой! Думая про них, я всегда с неугасающим недоумением пытаюсь высчитать, сколько же было им, когда началась война и когда она завершилась именно для каждого из них. Могучий Бондарев закончил войну в 23 года от роду, пройдя Сталинград. Овидий пошёл воевать в 16 лет, а в его 20 с небольшим война закончилась.

Оглянитесь окрест, люди! Как и что происходит с нынешними людьми в 20, в 23 года? Что же и каким образом мы уступили — да и кому? — чтобы так беспомощны и непуτέвы оказались новые человеческие поколения, по моему, неспособные повторить то, что столь обыденно и просто сотворили мальчишки Отечественной войны, лейтенанты, выжившие в буре?

8

Он был скромным, неговорливым человеком. Незнакомым и не знающим его казался замкнутым, но был открыт и ясен тем, кому доверял. Я видывал, увы, на своём веку поэтов, спивающихся от чувства собственного превосходства — как уязвлённого, так и превознесённого. Кстати, такие, как правило, относятся к временам, внешне мирным.

Однажды он во время моего приезда домой увлёк меня в Русский Турек, где жила в ссылке семья Александра Твардовского и куда приезжал когда-то классик. Любовиков добился, чтобы в местной школе установили памятную доску, волнуясь, произнёс речь — глубокую и возвышенную: пример того, как надо достойно ценить друг друга соратникам по поэзии и войне. Меня вовсе не поразило волнение Овидия — он был искренне преданным человеком.

Именно верность — одна из тем его поэзии, не единственная, но надёжная.

Не пытаюсь вдаваться в анализ его стихов, я просто скажу, что тема войны перешла у него в тему совести — вековечный поиск литературы. Стихи Овидия Михайловича о чести, достоинстве, подлинности — это его личная честь, достоинство, подлинность. Его личностные качества, и ни в коем случае не словесная декларация. Он вообще был далёк от всякого рода словесной шелухи, прежде всего, в своих стихах.

И какими же качествами надо обладать, каким воспитанием, чтобы жить просто, говорить скромно, до пафоса поднимаясь лишь в стихах, но ведь то стихи!

Когда Овидий Михайлович выступал как поэт, он мог подняться и до проповедничества, но чаще стремился ещё выше — к простоте.

Порядочность была не спутницей его, а сутью, и если его обвинят в каких-нибудь неправильностях, то эти неправильности были для него убеждением, а значит, правильностью.

Обижались ли на него? Почти уверен, что — да, потому что литература — тогда, кстати, ей было легче, а сейчас неумоготу по этой причине — движется рядом с нелитературой, всякого рода графоманией и словесной ложью. И Любикову, когда он возглавлял вятскую писательскую артель, приходилось отбиваться от мусора, посягающего на литературу.

9

Человек не живёт один. Вот и у Овидия Михайловича была — и есть — его не просто, как любят повторять нынче расхожее “вторая половинка”, — а его душа, его сокровенная суть, его любимый и любящий человек Агнесса Михайловна. Они встретились сразу после его возвращения из армии, женились, и комнатка без всяких удобств в деревянном одноэтажном доме, возле которого я встречал его, когда был школьником, стала их первым пристанищем.

Это надо понять по-особенному: уходя на войну, шестнадцатилетний мальчик даже и влюбиться-то не успел! И сколько их было — таких-то! Но это легко сказать. Легко заметить, когда тебя это не касается лично... А Овидий не только испытал такую возможную утрату. Много лет спустя он не скажет, а выдохнет сокровенное:

*И через столько лет — сойти с ума! —
Настигнет вдруг тоской неодолимой:
За всю войну любимой ни письма
Я не отправил. Не было любимой.*

Судьба не просто спасла его, не только провела сквозь войну, она стала благосклонна и к даруемому свыше — к его любви, наградив его этой женщиной.

Агнесса Михайловна всегда видится мне эталоном доброжелательности — такой и должна быть настоящая учительница. Но как же важно распространить это светлое сияние на всё, что вокруг: на мужа, на собственных детей, на всех, даже незнакомых, которым она сначала улыбается, а потом вступает в разговор. Не говоря про свет её, который обращён к друзьям.

Эта пара в моём представлении всегда была удивительно интеллигентной, приветливой, доброжелательной, прожившей просто и духовно многие годы. Вот почему я с особым поклоном к ней говорю Агнессе Михайловне самые преклонённые слова за годы, прожитые ею после ухода мужа. Она исполнила долг любви и преданности, издав несколько его посмертных книг, приняв участие в учреждении премии имени Любиковова и библиотеки его имени, литературных чтений на его родине. Любовь и долг, переплетясь, явились новым достоинством этой женщины.

10

Мне отчего-то кажется, что серьёзная литературная оценка так и обошла его стороной. Не то что книг, но и серьёзных статей с глубоким анализом его поэзии до сих пор нет.

Я полагаю, что в нашей литературе есть солдатский полк поэтов.

У каждого из рядовых этого подразделения — свой голос и, ясное дело, своя судьба.

Он уходит от нас, этот полк. Он выходит из этого времени в туман истории, отдаляясь от нас. Его голос всё реже слышат те, кто остался здесь, на земле, а особенно те, кого тогда ещё не было на свете. Они не знают голода, слёз, потерь. Они настраивают себя не на лишения, а на беспричинную благодать, что так или иначе, раньше или позже заставит их содрогнуться от непонятой беды.

Полк настоящих поэтов, не скрою, пополняется. Достойные поэты говорят сейчас о другом, но с той же, как поэты войны, тревогой. Поэтому шаги их слышны, хотя никогда ещё мир не нуждался так в сокровенном слове правды.

Отсражавшийся, но не умолкнувший поэт Овидий Любиков с нами.

Прибавим только голоса, когда читаем его стихи. Стихи солдата незримо-го полка.